

Мария Головановская

Числа одиннадцатого месяца

1

Шагальско-шагалирический ноябрь с шагалоидными летающими женщинами в фиолетовом, когда в три часа за окном уже месяц и отнюдь не май, а желтый, и кто-то все время обязательно писает у забора или просто у стены, или снимает штаны, сверкая в свете ранней луны такой же желтой задницей, -- бесконечный абзац, и часы словно слова, слова, слова, без знаков препинания, без разделение на подлежащее, сказуемое и дополнение, просто серый бесконечный бред, бормотание, монотонное шелестение проползающего мимо черного шелка-времени, приглушенное бульканье тяжелой бурой жидкости-времени, уже покрывающего первым ледком... И никакого тебе красного ангела, касающегося бело-серо-черных жениха и невесты с человечком на правой щеке, а только еврей один зеленой рукой время от времени протирает своей красной бородой твое стекло. И бесконечное зубовыпадение, шагалиское, ноябрическое, полное чужих охов, вздохов и чихов, среди которых непременно и твой, вроде посторонних для тебя, и вздох, и ох, и чих. Ноябрь длится не год и не два. Ноябрь длится день, день, день, день. Шаг за Шагалом от мира к Миров.

Упорство вычитания минут и часов их световых пауз, упорство всяческого вычитания, доводящего возможный минимум до почти полного своего абсолюта, аскетизма, остракизма.

И булькают проглатывая друг друга день, день, день, день.

2

Смотришь на одно и то же и видишь: одно и то же, одно и то же, одно и то же.

Смотришь на разное и видишь: разное, разное, разное.

Смотришь на разное и видишь: одно и то же разное, одно и то же разное, одно и то же, разное.

Шагание, шагаланье, мальчик ухаживает за девочкой, всякий раз вручая ей словно в полиэтиленовой колбе скрюченный ноябрьский цветок-личинку, невообразимый, неразгадываемый (только знать!) прообраз их будущей совместной и конечно же весенней бабочки. А пока он только, мальчик этот, выдыхает из себя что-то мутное и даже не смотрит на нее на закукленную, закукленную. Девочку, он и не ищет глазами ее лица, хотя оно и перед ним в синей вязанной шапочке, страшнее всего – профиль, когда уже будет прощаться, он словно металлический диск рассечет голову его пополам и обе эти половины покатаются с плеч в разные стороны. И невероятные усилия потребуются потом, чтобы найти эти половинки, слепить их воедино, водрузить на прежнее место, все время сжимая виски руками, чтобы не развалилась опять эта голова, чтобы случайно прохожий не сбил, не столкнул, не сбил как кеглю в черном ноябрьском шагалирическом воздухе, в котором она, голова эта, на тебе ли находится или отдельно непременно всплывает как буй, выволакиваемая помпоном, вечным помпоном – ноябрическим венцом всякого боящегося холода сосуда, в сечении напоминающего карту земного шара с плавающим по воду мозгом.

Или эти вечно замороженные станции или вокзалы с обязательными ибрагимовыми в начальниках, маята каждого вокзала, каждой станции со слезающей кожей со стен от такого синего галстука и козырька, подсвеченного отблеском зубовой золотой короны...

Ты жмешься к стене, как и все, словно хочешь согреть ее равнодушную плоть своим озябшим, потным холода телом, принимая на себя ее цвет, ее фактуру, ее секрет. В ноябре помойки не пахнут, а только еще выглядят в преддверье первого снега за исключением человеческих, вокзальных, в которой всякий подобен яичной скорлупе или промасленному сигаретному окурку.

В ноябре никогда не бывает солнца.

В ноябре виден только ветер.

В ноябре всегда хочется спать.

## 3

Как будто заполняешь всякий раз квадрат одним и тем же и как будто даже нарочно. Рисуешь цветок, бабочку, девочку, цветок, бабочку, девочку, потом цветок, бабочку, девочку. Плачешь. Рвешь квадрат. Переходишь к другому. И вот опять как будто даже нарочно в середине цветок, наверху бабочка, рядом девочка. Во всех квадратах цветки, бабочки, девочки. Плачешь. Плачешь. Плачешь. Пробираешь круг, треугольник, трапецию, и все равно как будто даже нарочно, и все равно как будто даже нарочно, плачешь цветок, бабочку, девочку...

Только и остается, что любоваться прекрасными ножками Людовика IV в белесых и почему бы не шелковых чулках и да пугаться его зверского аппетита, хруста куриных косточек по ночам или крабьего панцырька!

Только и остается, что щуриться от сияния его золотого подноса, ослепляющего не на мгновение, а на веки веков.

Но поему же, почему остается именно это?

А потому что – пят-над-цатый, и ноябрь уже раздавил твою голову чудовищным жерновом как зерно, и ты чувствуешь, как изо рта твоего течет твое человеческое масло, а ты и петух и зерно одновременно, все склевываешь и сплевываешь, впиваясь во всякую забористую перспективу шагалинным взором.

В забористую: за розовым забором – рассвет, за зеленым – сад, за синим – вечер. И крыши домов и коровья рожа на переднем плане и бесконечное женихание, мраконачное, беспросвечное, но ярко цветут цвета и все равно чувствуешь, как разбухает в тебе этот черный шар из ноябрьского тяжелого воздуха, поглощаемого по капле, по йоте.

И ноябрь, уже оформившийся, выделившийся прорастает в тебе гигантским черным деревом, расправляет внутри тебя свои жесткие острые ветви, и пустое это дело стараться загнать его этот ноябрь еще глубже внутрь себя или исторгнуть его наружу – он повсюду и ты бледно существуешь на его фоне.

Но бояться его нет смысла. Ни его серые глаза, ни плешивая лысины, ни вылезшая борода, ни вывалившийся сизой плетью язык, -- все это не должно пугать тебя, а только в крайнем случае отвращать. Он сам себя наказал, истощил, это бродяга, он настолько болен и слаб, его самого уже почти вытоптали и окно, к которому он подходит – черный квадрат.

## 4

Невозможно уже ни смотреть, ни разговаривать: мягкое образует складки, жесткое – углы. А вот уже и Людовик XV, которому всего пять лет, а папенька его, четырнадцатый, уже скончался! Говорят пятнадцатый и красив, и умен, да вот беда, воспитан он плохо. Хотя какая разница. Править ему один день, править ему недолго, а то, что ему наплевать на дела королевства, так не ему одному.

Главное определить границы, если не рационально, то хотя бы интуитивно нащупать их: где находится королевство, заселенное ангелами, бестелесными и бесполоыми, каждый из

которых корпит над нашими судьбами? В своих аккуратно разлинованных тетрадках, они прокладывают наши маршруты, это пока. Только пока на мокрых тротуарах не видны наши следы, а вот выпадет снег... Они отмечают красными крестиками наши остановки. Выписывают синим имена, названия, цифры. И что они, эти невесомые красавцы, понимают в наших истекающих плотью судьбах? Ничего. От этого и хромают их сценарии как подбитые галки, и карты с маршрутами, по которым мы вынуждены следовать, врут. Но что поделаешь, нет видать в заоблачном королевстве другой забавы, нежели играть в человечков, лакомиться их с сырным душком душой, маслянистыми мыслями, хрустящими корочками надежд. И каждый раз, когда происходит это поедание, этот барский ужин – за окном наступает ноябрь.

«Только, пожалуйста, без трагедий! -- капризничает Семикрылый, топает прозрачной ножкой по прозрачному облачку, шагалистый, порыгивающий эфирчиком, -- а то пропишу тебе зеленую бороду и уложу немножечко посохнуть на вонючий петушиный бочок». Страшно, не надо.

И проползают, причмокивая придорожной кашей, дни, дни, дни, дни...

Уже с утра под потолком горят огромные лампы, мел пачкает пальцы, и как всегда, невымытое ухо соседа таит в себе извечную тайну раковины, пускай даже ушной. Проходим дни.

Учебник в каплях – Третья ноябрьская эпидемия, картинка в насморке, чешутся и облезают бесценные полотна, и ни одного, буквально ни одного чистого носового платка не сыщешь. Ноябрь, как и центральный его правитель, не думает о делах государства. Одеваешься, раздеваешься, плачешь, смеешься, в ноябре никакой светотени, ты как картонная фигурка пришпилен, прикноплен то ли к доске объявлений, то ли к доске извинений. Силишься, тужишься выдернуть руками кнопку, пронзившую грудь, пригвоздившую тебя к плоскости – тщетно!, только ногами болтаешь в воздухе. Ты не видишь ничего вокруг, ты один во всей своей наготе, окруженной промозглым воздухом в этом Чистилище, тебя взвешивают на холодных весах, а потом вдруг ни с того ни с сего обряжают в чужое – наряды, наряды, пояски и мантии – это Одиночество правит бал, резвится облачая и разоблачая – разницы нет, когда ты один, ты всегда раздет, и единственное, что тебе дано видеть – самого себя.

## 5

Самая сладкая из конфет – иллюзия, что ничего не меняется. Самое драгоценное из лекарств – надежда, что пройдет время, и будет иначе.

Кому обязаны мы этими ходулями? Прямохождению? Желанию вытянуться? Страху? Бегу? Кошмару двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, под которые не подберешь никакого Людовика и никакого Рамзеса, а только Хатшепсут без всякого номера, развалившуюся прямолинейно и откровенно на всей неделе. Ношки-крошки хвалятся своими розовыми пяточками, выскальзывают из желтоватого пара под солоноваты служаночий шепоток. Черти кипятят нас в котлах, стерилизуют как банки в эту последнюю шагалью неделю, готовясь законсервировать в нас наше же содержимое, и бабы их чертовские разглядывают в лупу пузыри, выпрыгивающие из наших ртов – так вот шагалические подсказки сменяются босхимальными, и над дорожками кружится пар и воздух пахнет серой. А в пузырях, что испускают наши рты отражаются – и месяц на рекой, и баран на мосту, и полушка зачерствевшего хлеба.

И вот уже – никаких цветов в полиэтиленовых колбах, никаких вокзалов. Ни неба над головой, пускай даже низкого и шершавого как котятый язык, а только катящаяся голово

Людовика VI и все устремляется вслед за ней, и Рамземы, и обварившаяся Хатшепсут, все стремиться в соломенную корзину, имя которой – двадцать восемь, двадцать девять, тридцать.

Опуская голову в кипящее масло, видишь дно сковороды. Закомпенное и темное, и как его ни драй – зеркала не получится. И веки твои уже заросли, и рот твой зашит проволокой. Жаришься, кипишь, обугливаешься, и в последнем неимоверном скотском усилии мычишь, вытаскивая себя как Мюнхаузен за волосы. – и чудо: опадают с головы черные от сажи лепестки, трескается и отслаивается окоченевшая кожа, свет прорезает глаза, и ниспадает чудная белая декабрьская единица, искрящаяся на солнце, хрустящая под ногами, носатенькая и стройна! Она ласково берет под руку, и вы вместе, образуя ослепительную десятку, отправляетесь на прогулку туда, где в воздухе сплошная пляска и хороводы, а огромное синее небо бесконечно высоко и всегда над твоей головой.

Декабрь 1991 года